

вольствіе, жадность разыграется, а онъ не дослышалъ, должно быть, и воротилъ обѣихъ. Хоть и непріятно было, но дѣлать нечего. Даю той 30 рублей, а другой говорю, что больше пока нѣту, что пусть она не завидуетъ. И вдругъ... — голосъ старика осѣкся... — и вдругъ, — повторилъ онъ, и губы его задрожали, и глаза налились слезами,—и вдругъ та, другая-то... которой ничего не даль... такъ и расцвѣла вся... отъ радости... „Вотъ, — говоритъ, — и слава Богу, и хорошо!.. Зачѣмъ завидовать, что ты?! Ей нужнѣе... А когда будетъ, она и моимъ ребятишкамъ молочка дастъ... Слава Богу!..“ Надо знать ихъ жизнь, чтобы понять, что это значитъ...

И, совсѣмъ растроганный, Левъ Николаевичъ замолчалъ. Сколько разъ видаль я эти слезы на милыхъ, глубоко впавшихъ глазахъ его: чуть только мелькнетъ въ людяхъ что-нибудь доброе, святое, такъ дѣдушка Толстой уже весь радость и умиленіе.

Онъ всталъ, прощаясь. Наша девяти-мѣсячная Мируша, дичившаяся людей, благодаря нашей уединенной жизни, вдругъ подарила Льва Николаевича улыбкой,— маленькой цвѣточекъ улыбнулся огромному сверкающему солнцу.

— Ишь ты!.. — пошутилъ кто-то. — А намъ-то такъ не улыбаешься...